

Александр Вергелис

Так мог говорить Заратустра

Два рассказа

Одамон

Он появился из ниоткуда. Его вылепило само время — из дорожной пыли, из базарной пестроты, из крошек халвы и обрывков «Тысячи и одной ночи» — то неуютное время, которое так трудно было любить. В нашей квартире на Фонтанке кудахтали вывезенные из деревни пеструшки и пронзительно пел огромный голенастый петух, мой несчастный дядя был еще жив, а бабушка уже умерла. В те годы вообще умирали часто — и своей, и не своей смертью. Многие травились паленой водкой. Кого-то убивали бандиты. Кто-то просто уставал жить.

А он жить не уставал, потому что любил. Это было его время. Оно его породило, оно же и съело.

Дядя называл его «братка». Собственно, он, дядя, еще смеющийся, но уже безнадежно больной, с сизым лицом и трясущимися руками, его и привел — как лучшего друга и, пожалуй, даже брата. Видимо, на этом основании маму этот человек звал «апа», что значит «сестра». Я, соответственно, приходился ему племянником. Поэтому обращение «дядя Сархат» было вполне уместным. Тем более что он сразу повел себя так, будто действительно приходился нам родственником.

У дяди с Сархатом были какие-то общие дела. Скорее всего, их дружба укреплялась обоюдными выгодами, но возможно, секрет дядиной привязанности к Сархату заключался в другом. Однажды я стал случайным свидетелем того, как дядя долго и униженно выпрашивал у него что-то, а тот упрямылся и не давал. Потом воровато извлек из-за пазухи початую бутылку с прозрачной жидкостью и налил полстакана. Дядя жадно, не морщась — так измученный жаждой путник в кино пьет воду из родника — проглотил отмеренную порцию. Дальнейшее выглядело так, как будто тяжело больной человек проглотил чудодейственный эликсир и мгновенно исцелился. К дяде вернулось его знаменитое остроумие, он даже запел — что-то оперное, бравурное. «Аравийское снадобье», — вспомнились мне слова из детского фильма. Сархат, конечно, был волшебником, вне всяких сомнений.

Не верившая в плохое мама Сархату покровительствовала. Она вообще относилась к тогда еще не столь многочисленным выходцам из бывших южных республик как к детям, считая их «несчастливыми», «брошенными на произвол судьбы». Она насмерть

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живет в Санкт-Петербурге. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 4.

поссорилась с лучшей подругой, выпросив у нее для Сархата увесистую зеленую «котлету». Доллары требовались для какого-то коммерческого предприятия и в срок возвращены не были.

Отец относился к его присутствию со стоическим юмором. «А где мусульманин?» — спрашивал он, приходя с работы. Работа эта заключалась в стоянии на Невском проспекте с большим круглым значком на лацкане пиджака: «Хочешь похудеть? Спроси меня как». Хватая прохожих за рукав, вчерашний морской офицер пытался обратить их в свою веру и продать немного чудесного порошка. По инструкции сначала полагалось представиться, и тут начинался сплошной конфуз. Слово «дистрибьютер» он выговорить не мог. В общем, на этом поприще отец не преуспел. Купленный им набор разнообразной травяной пыли долго валялся в нашей захлавленной квартире. Иногда я открывал пластмассовые баночки и подносил их к носу — пахло приятно.

А Сархат процветал — он продавал не иллюзии, а овощи и фрукты, он радовался жизни во всем ее конкретном разнообразии. Волнующие образы сказочного Востока вставали передо мной, когда он рассказывал о своей жизни на родине. Если верить его повестям, Сархат являлся реинкарнацией ходжи Насреддина и новым воплощением Багдадского вора. Из всех его сказок мне более или менее отчетливо запомнилась история похищения интеллектуальной собственности — кражи одного ценного архитектурного проекта. Дело было так. В соседнем городе, а может, кишлаке, с которым родной город или кишлак Сархата пребывал в извечном соперничестве, местные баи, вспомнившие о своих духовных корнях, собирались строить медресе. Проект заказали какому-то именитому архитектору. Чертежи хранились в тайном месте, в сейфе новейшей конструкции. Под покровом ночи Сархат, совершив чудеса бесстрашия и ловкости, через крышу проник в охраняемое помещение, хитроумно взломал сейф, и то ли от руки перечертил, то ли сфотографировал всю проектную документацию. В результате медресе было построено в его родном городе, а терпилы-соседи уже ничего строить не стали.

Во время гражданской войны Сархат отличился тем, что подорвал вражеский танк. Как подорвал?

— Закопал баллон с газом на дороге, — от души смеется он, блестя золотыми резцами.

За кого он воевал, на чьей стороне был? Да ни на чьей. Просто защищал родное гнездо, уверял он.

Да, Сархат был большой храбрец и удалец, при этом он до смерти боялся заглядывавшую к нам бабушкину сестру, бабу Шуру, которая за глаза звала его «чучмеком». Звонил, опасливо интересовался: «А бабушка дома?» Узнав, что ее нет и не предвидится, тут же расцветал.

— Когда в Душанбе поедет? — говорил он, пребывая в особенно хорошем настроении.

О своей родине рассказывал с благоговением. Это было лучшее место на земле. Даже солнце и звезды были там не такие, как везде, а какие-то особенные. Да, родную республику он любил. Но жить предпочитал в холодном, сумрачном городе, еще недавно называвшемся Ленинградом. Конкретно — у нас в квартире.

Рано утром спящий дом оглашался громогласными звуками — дядя Сархат садился на телефон, звонил своей далекой родине. Почему нужно было так кричать в шесть утра? Что было причиной — плохая связь или избыток родственных чувств? Имея дома укомплектованную детьми семью, на питерском рынке он, между тем, завел русскую жену, с которой все время грозился нас познакомить.

Его племянник Анко был другим. Однажды он появился у нас под Новый год с томиком персидских стихов и сладчайшей дыней. Смотрелся он восточным принцем — тонкие изящные руки с розовыми ногтями, узкое точеное лицо, печальные глаза цвета

чернослива. Сархат объявил, что Анко приехал помогать ему на рынке, но в это как-то не верилось. Этого человека я мог представить лишь в мозаичных чертогах вздыхающим на ковре с каким-нибудь музыкальным инструментом в руках, и чтобы рядом была клетка с соловьем. Собственно, Анко и означает «соловей». Потом, читая про Калифа-аиста или Гарун-аль-Рашида, я всегда представлял себе лицо этого человека.

Анко заметно тяготился той ролью, которую навязывали ему обстоятельства времени. К тому же он тосковал по родине, где, возможно, осталась какая-нибудь Лейла или Зулейха. Он по-детски любил возиться с черепахой, подаренной мне Сархатом, — переворачивал ее на спину и в задумчивости крутил, как волчок.

— У нас таких много, — печально говорил он, наблюдая черепаший брейк-данс.

От ностальгии страдала и сама черепаха: она, как заведенный вхолостую вечный двигатель, день и ночь работала лапами — шла в сторону родных пустынь, упершись своим старушечьим лицом в стенку водочной коробки. Ее прикончил наш кот — сбросил вместе с коробкой со шкафа. Здоровый панцирь, наверное, выдержал бы и не такое, но нашу Тортиллу изнутри подточила тоска. Ее вечный двигатель остановился.

В отличие от черепахи и Анко, Сархат не унывал. Он с увлечением смотрел телевизор. Любимой его программой была «Любовь с первого взгляда». Ведущая шоу, маленькая крикливая женщина, вызывала у него бурю эмоций. Сархат с ногами забирался на диван и время от времени восторженно восклицал: «Мандавошка!»

Иногда с рынка он приносил овощи и творил простые, но дьявольски вкусные блюда — как умеют только на Востоке. Даже картошку он жарил как-то по-особенному.

Между тем, заняв у мамы денег, Сархат вскоре исчез. Говорили, что он умер — по одной версии был убит на рынке, по другой — скончался от какой-то недолеченной болезни. Жаль, если это так.

От него остались фантастический фиолетовый в полоску пиджак и брошюра на непонятном языке. Я запомнил одно слово, повторявшееся наиболее часто: «одамон».

Пиджак Сархата до сих пор висит в родительской квартире, выбросить его или отдать кому-нибудь отец с матерью не решаются. А вдруг в дверь позвонят, и на пороге снова, как четверть века назад, появится он, высокий, поджарый, с тонкими латиноамериканскими усиками над златозубой улыбкой:

— Ассалому алайкум!

Не знаю, как они, но я бы, пожалуй, обрадовался.

Где ты, дядя Сархат? Ту дар кучо, одамон?

Уна суна кара

Мы стоим на набережной. Крутик губаст, красношек и весь распахнут. Ледяной борей треплет его русский чуб, лезет под кожу, но горячая восемнадцатилетняя кровь вперемешку с крепленным пивом сводит все усилия стихии к нулю. Могучая грудь втягивает дешевый дым, жадные зрачки беспокойно сосут серый ноябрьский окоем, состоящий из рваного неба, воды и гранита. От избытка чувств Крутик крикает, выбивает из пачки новую сигарету и прикуривает от предыдущей, дожатой до самого фильтра. Он весь — порыв. Он весь — жажда жизни. Ох и широк Крутик — я бы сузил!

Мы глотаем «девятку», я что-то рассказываю, он ржет, как боевой конь. О чем мы? О девушках? Об общих знакомых? О политике? А может быть, о грядущих перспективах? Я учусь на архивариуса. Он — на мента. Но какой, к черту, из него мент? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество!

Крутик еще смеется, он, как ветер, еще пребывает в непрерывном движении, но что-то уже меняется, что-то вдруг такое с ним происходит — внезапная мысль

надувается пузырем и лопается в его крепком черепе. Я продолжаю говорить, но Крутик перестал меня слушать. Он задумчиво мнет опорожненную пивную жестянку и как-то странно на меня смотрит, жестом античной статуи останавливает мою торопливую речь.

— У-на су-на ка-ра! — вдруг медленно произносит Крутик. В пьяных глазах его — и тревога, и восторг, и еще бог знает что.

Только что мы мирно трепались о чем-то, не стоящем упоминания. Только что были дураками, не знающими, куда девать жизнь. Но посмотрите, как он изменился! Так мог выглядеть Моисей на горе, так мог говорить Заратустра, вдохновленный Небом.

— Уна суна кара! — повторяет Крутик, и его серые радужки темнеют.

Я не знаю, как реагировать. Его скулы каменеют, все его лицо приобретает цвет гранитного парапета, о который он, вмиг ослабев, опирается обеими руками. Что с ним? Ему плохо?

— Я не знаю. Я просто вспомнил. Слушай, сегодня я шел по улице, и вдруг... В моем сознании отпечатались: «Уна суна кара». Три слова, понимаешь?

Понимаю ли я? Конечно, понимаю! Тоже мне, мене-текел-фарес! Крутик в последнее время читает всякий эзотерический мусор и методично «тренирует мозг», развивает, понимаете ли, интуицию. У него вот-вот прорежется во лбу третий глаз. Он давно настраивает свой заливаемый пивом и водкой приемник на космические волны, и вот, по всей видимости, свершилось: преодолев сотни световых лет, прорвался сигнал. А может, это из прошлого, из глубины тысячелетий, из погибшей Атлантиды донеслось слабое эхо? Он и сам не знает, что означают эти три слова, но пребывает в уверенности, что значат они что-то очень важное, а главное — имеют колоссальную магическую силу.

— Уна суна кара... — уже шепотом произносит Крутик.

Наконец он умолкает, страхась древней силы этих слов, боясь совершить что-нибудь ужасное, пугаясь непоправимого — кто знает, возможно, это заклинание способно вызывать землетрясения, сдвигать с места континенты, менять судьбы народов, искривлять траектории комет, орбиты светил. Вот сейчас он в третий раз повторит эту бессмыслицу, и дрогнут стекла домов, лопнет мокрая корка асфальта, разверзнутся недра земные и при свете молний исторгнут спавших тысячи лет хтонических исполинов.

Крутик хоть и без пяти минут офицер милиции, а сущий ребенок, нельзя обижать его недоверием. Я изо всех сил стараюсь придать своему лицу серьезное выражение. Прорывающийся смех неумело маскирую приступом кашля. Крутик ничего не замечает, он пребывает под властью непознанного. Застыв на месте с распахнутой жаркой грудью, курсант школы милиции смотрит вдаль невидящими глазами.

Мы стоим на набережной. Космический ветер гуляет над леденеющей Невой.

Лёшка Крутиков мой лучший друг с третьего класса. Я — один из немногих понимающих, я — единственный, кто с любопытством наблюдает за его алхимическими опытами, кто участвует в испытании построенных им перпетуум-мобилей и нелетающих летательных аппаратов.

Наша дружба начинается с научного эксперимента. Вдохновленный его речами, я иду в аптеку покупать шприц. Мы будем ставить опыты на растениях — для начала впрыснем в алоэ кошачью кровь. Ожидается научная сенсация: растение должно мутировать. Биологический материал для инъекций добыл Крутик — возле его дома на улице Гоголя насмерть задавлена кошка Фрося. Моя задача купить орудие. Деньги выпрошены у мамы, посвященной в суть дела. В аптеке меня ждет допрос — женщина в белом халате интересуется: зачем, для чего. Узнав о наших с Крутиком научных проектах, с минуту размышляет и выдает инструмент — замечательный, стеклянный.

Но исколотое нами толстомясое алоэ не желает превращаться в гибрид, и вместо того чтобы начать покрываться шерстью и мяукать, постепенно усыхает. Все ясно — нарушена чистота эксперимента: Фросина кровь загустела и разбавлялась водой из-под крана, а в ней хлорка. Нужна кровь свежая, теплая. Убивать новую кошку нам жалко, Крутик предлагает подстрелить голубя. В его арсенале имеется оружие Бена Гана из фильма «Остров сокровищ» — металлическая трубка и стрела, изготовленная из вязальной спицы и кусочка поролона. Он с изумительной меткостью попадает в родимое пятно Горбачеву, улыбающемуся с газетной передовицы. Наточенное напильником острие глубоко входит в оклеенную газетами стену — что там какой-то голубь! Однако голубя нам тоже жалко. На пути научного прогресса встал доморощенный гуманизм. К тому же истерзанная кошачья тушка, спрятанная Крутиком в холодильник, обнаружена со скандалом. Крутик выпорот проводом от полотера. Зато мы подружились — как минимум, лет на двадцать.

Домашние истязания не отбили у него тягу к познанию. Эксперимент следует за экспериментом. Посмотрев кино про ГУЛАГ, Крутик вымачивает в блюде дождевых червей — с тем чтобы потом их съесть. В фильме червями питался, выживая в голодном аду, старичок-зэк, бывший биолог, знавший, что в этих вытянутых мускулистых тельцах — сплошной белок. Крутик отрезает кусочек вымоченной до белизны макаронины, осторожно жует. Я смотрю на него, я слышу хруст червячьей плоти на его зубах, и в глазах у меня темнеет. Я выбегаю из комнаты, однако коммунальный сортир занят. Я мечусь по коридору, зажимаю рот, но столовский борщ бьет алым фонтаном в лицо Валерия Леонтьева, улыбающегося с календаря.

— Это потому что ты знал, — объясняет снова выпоротый, но не унывающий Крутик. — Если бы тебе подсунили это в салате оливье, ты бы съел и не заметил. Все дело в самовнушении. Внуши себе, что перед тобой крабовая палочка.

Крутику самовнушение не требуется, он регулярно тренирует волю — жжет себе пальцы свечкой, часами стоит на одной ноге, спит на гвоздях, как Рахметов. Ради эксперимента он готов не ложиться пять ночей подряд, но на третьи сутки организм побеждает: на химии Крутик засыпает, сидя за партой в позе египетской мумии — со скрещенными на груди руками. Взбешенный химик пытается его разбудить — тщетно!

Его гастрономические опыты не ограничиваются дождевыми червями: Крутик пытается испечь блокадный хлеб — такой, как в нашем школьном музее. С опилками, жмыхом и обойной мукой. Получается не очень, «хлеб» разваливается в руках, но пекарь не отчаивается. Он вообще никогда не отчаивается. И желудок у него — как пионер: всегда готов.

Но однажды Крутик перестает есть. Просто не может. Он внезапно задумался о тайнах пищеварения, его гнетет своей непостижимостью чудо превращения каш и супов в розовую жизнерадостную плоть, в возвышенные мысли и дерзкие мечты. Он долго смотрит на кусок хлеба и пытается что-то понять, но откладывает еду в сторону. Потом желудок все-таки побеждает, но возникший в глубинах крутиковского ума вопрос не теряет своей остроты и способен загнать мыслителя в ступор посреди обильного угощения.

С Крутиком интересно. Крутик — неиссякаемый источник ошеломляющих фактов о мироздании. Он впитывает ценную информацию, чтобы потом щедро выплеснуть ее в мои податливые уши — за отсутствием других.

— А ты знаешь, сколько лет придется лететь до соседней галактики? А ты знаешь, какое животное самое быстрое? А самое медленное? А сколько себе подобных может поднять муравей? А известно ли тебе...

Я не знаю. Мне неизвестно. Я безнадежно темен. Крутик щурится от удовольствия. Сейчас он осветит сумрак моего невежества лучом истины.

Он много и беспорядочно читает. Глаза у него, по собственному признанию, чешутся. Его любимое чтение — журнал «Огонек», книга «Занимательная химия»,

всякого рода справочники и энциклопедии. Он не может пройти мимо газетного стенда. Он охотно листает университетские учебники, хотя школьные не открывает вообще. После летних каникул Крутик терроризирует меня новыми познаниями о природе электричества. Я запомнил два слова: катод и анод. Сколько раз он повторил их? Сто? Двести? В моей памяти они поселились навсегда — мраморно белеют Катод и Анод в ее потемках близнецами-диоскурами, такими же неразлучными, как мы с Крутиком.

Угодить физичке, впрочем, эти открытия не помогают. Потому что все, что изучается в рамках школьной программы, Крутику неинтересно. Круг предлагаемых обстоятельств для него слишком тесен. Он сам в состоянии предложить миру любые обстоятельства и делает это постоянно. Нудному химику Крутик устраивает обструкцию — разумеется, химическую. Дыма так много, дым такой едкий, что весь класс, кашляя, вылетает в рекреацию. Урок сорван, Крутик срывает наши аплодисменты.

— Химия, химия, стала пися синяя... — самодовольно напевает Крутик, готовя новый теракт.

Любовь к науке о веществах не спасает от двоек. Одно дело — поджигать магний и смешивать серу с селитрой, другое — писать формулы. Я в естествознании тоже не силен. Я — гуманитарий. Это слово мне страшно нравится. Я себя этим словом уловил и закрыл, как жука в спичечном коробке. И никаких колебаний на распутье, ноль сомнений, в какой класс податься после девятого — в гуманитарный или математический. У Крутика тоже никаких.

— Мне все равно. Куда ты, туда и я, — зевает он. — А иначе, с кого я буду списывать?

Списывает, впрочем, он слишком творчески. Делает это он так, что в результате я получаю «пятак», а он «парашу». Виноват, разумеется, все равно я. Крутик ругает меня за неразборчивый почерк. Я же пребываю в уверенности, что таким почерком может обладать только гений, и менять его не собираюсь, даже несмотря на учительский ропот. Мне пеняют, меня журят, но поделаться со мной никто ничего не может: по стране шагает Перестройка, в моде гнилой либерализм, на стене в классе висит желтый плакат:

Каждый учащийся — личность!

Крутик встает на стул и вносит поправку — заменяет букву в третьем слове. Маленький огненнобородый географ в дверях одобрительно картавит:

— Каждый, не каждый, а вот ты, Кругиков, действительно лишний!

Я-то, положим, гуманитарий, а Крутик? Еще какой! Он сочиняет музыку. В его голове рождаются оратории и кантаты. Он не знает нот, он не играет ни на одном инструменте, но внутри у него уже бушует дух музыки. Для реализации его творческих замыслов требуется целый оркестр. Однажды утром он входит в класс с опухшим от всеобщего сочинительства лицом.

— Все начинается с арф, — объясняет он на перемене и перебирает пальцами невидимые струны, с его пухлых губ слетают подражающие звуки.

— Тут вступают трубы, — Крутик раздувает щеки, краснеет, плюется, изображая одновременно тромбон и фагот, не забывая барабанить по подоконнику пальцами.

На следующий день к своему творению он уже безразличен — им овладевает новая идея.

Идей много. Они кишат в его голове и рвутся наружу. Он придумывает сюжеты фантастических романов и дарит их мне. Он даже пробует что-то писать, и, черт возьми, у него здорово получается — но далее первого абзаца дело не идет, мешает новый замысел.

Если бы не я и не мое терпение, Крутика, наверное, разорвало бы изнутри.

Например, от многочисленных футурологических теорий, излагаемых с безоглядной уверенностью.

— В будущем язык упростится. Все лишнее будет выброшено. Книги будут состоять из нескольких страниц. Представляешь, какая экономия бумаги?

Будущие люди будут изъясняться друг с другом при помощи слов-сокращений. Например, фраза «Я вас люблю» уложится в слове «Явлю», «Добрый вечер» превратится в «Дочер», «Сходи в булочную» — в «Сховбу». Но это только начало: ради экономии времени и телесной энергии все основные фразы, используемые людьми, будут пронумерованы, и разговаривающим останется лишь перебрасываться цифрами. У человечества останется гораздо больше времени для более полезных и приятных дел: освоения космоса и создания лекарства от смерти. Я пытаюсь говорить как человек будущего, но сокращенная фраза «Я хочу есть» звучит непечатно.

Пока наш язык остается во власти архаики, Крутик продолжает заглатывать книги, журналы, инструкции по применению, стенгазеты, вывески, этикетки, надписи на заборах. Польза от этого внеклассного чтения есть. Диковинные фамилии Мандельштам и Пастернак я впервые услышал именно от него, классе в пятом, — у Крутика в кармане школьного пиджака имеется вырезка из журнала с несколькими стихотворениями, которые он, впрочем, знает наизусть и охотно декламирует.

Мело, мело по всей земле, во все пределы...

Однажды утром, румянясь от волнения, он читал гумилевский «Крест»:

Так долго лгала мне за картою карта,
Что я уж не мог опьяниться вином...

Однако Маяковский ему не давался. Когда пришла пора декламировать у доски, Крутик соблазнился наиболее коротким стишком и попал в ловушку.

— Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, — бодро и уверенно начинает он, однако дальше пластинку заедает. — Я показал на блюде студня... Я показал...

В сатирической стенгазете «Зеркало», выпускаемой под редакцией огненнобородного географа, вскоре появляется изображение: довольно похоже нарисованный Крутик барахтается на огромной тарелке в густой массе из стихотворных цитат. Внизу подпись: «На блюде студня».

Однако мало кто знает: среди того сора, о который Крутик-школяр чесал свои алчные глаза, между прочим, попадались «Чевенгур», «Сто лет одиночества» и «Процесс» Кафки. В нежном возрасте Крутик проглатывает «Раковый корпус» и «Матрёнин двор» — возможно, и про существование Солженицына я узнаю тоже от него. Я до сих пор благодарен ему за «Аполлона в снегу» — сплошное упоение под черной обложкой. А по литературе у Алексея Крутикова, меж тем, сплошные тройки, поставленные из жалости...

«Три пишем, два в уме», — острит наш крючконосый биолог Арон Абрамович. «Барон Баранович», — по-детски юморит в отместку Крутик. Да, мой друг — двоечник. Но двоечник — не значит дурак, просто человек не вмещается в рамки. Не хочет он быть как все, ему претит. Нет, Крутик отнюдь не глуп. Он чинит телевизоры и учит эсперанто. Уже потом, в другой жизни, он станет единственным во всем городе мастером, специализирующимся на обслуживании какой-то уникальной выписанной из Америки машины, производящей особую строительную проволоку, а может, и не проволоку, но это не важно, главное — машина похожа на космический корабль, занимает целое здание и слушается только Крутика. Это будет потом — уже после ментовки. А пока — открытие за открытием, в том числе — в области физиологии.

Впервые познав плотские радости, он с воодушевлением первооткрывателя делится впечатлениями, даже чертит что-то на тетрадном листке — для лучшего понимания, как все устроено. Его рассказы вызывают у нас, профанов, приятное волнение: впереди, за последним звонком — благоухающий сад наслаждений, нескончаемая вакхическая песнь, словом — взрослая жизнь. Мир, который вот-вот будет принадлежать нам, в этих захлебывающихся повествованиях — таинственно-прекрасен и щедр на подарки. Главное — быть с этим миром смелее. И принимать его дары с благодарностью. Даже если розы превращаются в жаб.

Кажется, еще в школе Крутик успел отметить по венерической части. Однажды утром, отправившись в коммунальный туалет, он испытал известный дискомфорт. У меня по сему случаю родился злорадный экспромт, оперенный тройной рифмой: «С утраца у молодца вдруг закапало с конца».

Для Крутика его трепак — увлекательное приключение. Аудитория девственников в раздевалке перед физрой гудит от восторга и готова аплодировать: Крутик и его гонокки — герои дня! Он в лицах передает разговор с врачом, сыплет гусарскими островами и медицинскими терминами, дает житейские советы.

Главное Крутиково качество — способность удивляться. По Платону, с удивления начинается философия. С удивления начался и Крутик. Он без конца поражался себе и миру, в который был неизвестно кем и зачем помещен. Он никак не мог привыкнуть к существованию — собственному и чужому. Его мучили проклятые вопросы. Он заболел идеями, как болеют ветрянкой: они буквально высыпали у него на лице. Но переболев раз, Крутик приобрел устойчивый философский иммунитет. На несколько месяцев он впал в оголтелое нищестанство. Потом вдруг зауважал Гегеля. Время от времени его рассуждения приобретали оттенок субъективного идеализма.

— Где гарантия, что вся эта хрень вокруг — не сон? А я не лежу себе где-нибудь на необитаемом острове, натрескавшись бананов. И вот сейчас проснусь — старый бородастый абориген с кольцом в носу. А может, и вообще не человек, а... какой-нибудь краб.

Вот на уроке геометрии Крутик сидит за партой, подперев голову кулаками. Лицо его потемнело от умственного напряжения, он не может вытерпеть внутреннего давления мысли и поднимает руку. Нет, он не по поводу треугольника, растопыренного на доске, он — о другом.

— Елена Анатольевна, а если в комнате никого нет, идет ли там, внутри этой комнаты, время? Есть ли там вообще что-нибудь? Если предметы, находящиеся в ней, никто не видит — существуют ли они?

В классе стелется плотная тишина, но вот ее проклевывают робкие одиночные смешочки, вскоре разрастающиеся в повальный гогот. Крутик непонимающе озирается, его вызывают к доске, к треугольнику, суют мел, требуют что-то чертить и ставят заслуженную двойку.

А потом он долго стоит перед учебным стендом в кабинете биологии. На стенде — человек с содранной кожей, с волокнистой говядиной мышц, оплетенных разноцветными трубками-жилами. Крутика поражает способность человеческого тела безостановочно пыхтеть на протяжении десятков лет.

— Ведь мы же машины — только сделанные не из металла, а из костей, кожи и мяса. Тебе не странно, что мы не ломаемся, а без конца двигаемся, дышим, гадим столько лет? И все на пошлых супах и кашах! А мне вот иногда кажется, что внутри у меня что-то нарушится и я упаду на пол.

Как будто в подтверждение его сомнений прямо на уроке умирает розовощекий здоровяк, спортсмен-лыжник Мишка Благоев. Он просто перестал дышать: читал параграф и упал лицом в раскрытый учебник астрономии — в карту звездного неба. На похоронах Крутик топчется в стороне, наконец хватая меня за рукав:

— Ты понял? Он сломался!

Есть и другая гипотеза: Благоев исчерпал свой ресурс. Каждому отпущено определенное количество жизненной энергии, и весьма опасно расходовать ее слишком

рьяно — как это делал покойник. И — как сам Крутик, избыточный во всем, пребывающий в постоянном движении. Человек — это батарейка, но никто не знает своего заряда. У большинства людей ресурса хватает лет на семьдесят. Но бывает и брак. Крутик не спит всю ночь и разрабатывает методику энергетической экономии. Чертит какие-то таблицы, обмеряет свою комнату рулеткой. Главное правило — не делать лишних телодвижений. Отказаться от не продиктованных необходимостью физических действий — игр, прогулок, разговоров. Даже от онанизма. Нужные для жизни повседневные действия нужно совершать с минимальными энергозатратами. На выходных Крутик старается не выходить из дома, предпочитая лежать в кровати. Он прогуливает любимую физкультуру. Он просчитывает и взвешивает на весах целесообразности каждый шаг, каждое поднятие руки, каждое сказанное слово, каждую подуманную мысль. Его походка изменилась: стала слишком сосредоточенной, отрывистой, напоминающей передвижения робота.

Но натура берет свое: через неделю он уже играет в «квадрат» на школьном дворе, машет руками, орет во все горло. Накопленная энергия расходуется на то, чтобы забросить казенный теннисный мяч на крышу школы.

Крутику не суждено усохнуть в угоду ложной теории. Растущий организм спасен для подвигов и наслаждений. Впрочем, сам от себя Крутик порой не в восторге. Однажды, взглянув на собственные руки, удивленно пошевелил пальцами и скривился от омерзения:

— Это же щупальца, посмотри! А мы — скользкие зеленые твари, покрытые чешуей. Понимаешь? С точки зрения марсианина, мы — уродцы, которых не жалко уничтожить. Как они для нас. И все наше искусство в их восприятии — сплошное уродство. Джоконда — тьфу! Это нам она — шедевр, а им — мутное пятно.

Мутными пятнами заполнена его маленькая комната: Крутик пробует себя в живописи. За отсутствием холста «примитивист-абстракционист», как он себя определяет, пишет на фанере, оргалите и картоне от водочных коробок. В творческом порыве расписаны подоконник, батарея, часть обоев и край потолка — фреска изображает группу плывущих над землей человекоподобных существ неопределенного пола. Внятных комментариев по поводу изображения от художника не добиться. «Инопланетяне? Возможно. Или ангелы. А может, человеческие души после смерти. Или до рождения», — морщась, гадают он. Он ничего не знает, потому что его искусство интуитивно. Новоявленный художник не щадит реальную действительность, проявляя творческую беспощадность даже к себе. Лицо, изображенное на «Автопортрете», больше похоже на подгнивший кочан капусты. Рисовать мой друг не умеет совершенно, однако чувство цвета и композиции у него есть. А главное — во всем этом беспомощном малевании прослеживается единый стиль. И есть философская подкладка. Чего стоит серия полотен с явными кантовскими аллюзиями: «Вещь в себе №1», «Вещь в себе №2» и так далее по периметру комнаты.

Эта странная комната — зеркало Крутиковой души. В ней умещается столько ненужных вещей, что нужным не остается места. Обоев почти не видно: они скрыты под толстым слоем крутиковских фантазий. Полстены занимает коллаж из журнальных вырезок, лоскутков ткани, значков, нашивок, магнитофонной пленки, мертвых бабочек, стрекоз и жуков. Брежнев здесь присосался к щеке Джима Моррисона, репинский Иван Грозный по-вампириски впивается в темя Микки Мауса, остропалый Фредди Крюгер пронзает железной пятерней бронзовое туловище Ленина. Примерно половину крутиковского личного пространства занимает коллекция табличек, свинченных в разных общественных местах. Предостерегающие, требующие, запрещающие, они взывают к лучшему, что есть в человеке: «Уважайте труд уборщиц. Не трусите в парадных», «Экспонаты руками не трогать», «Товарищ! Чаевыми ты унижаешь работника советского общепита!» Тут и знакомое, с черепом, прошитым красной молнией: «Не влезай — убьет!», и эксклюзивное: «Товарищи покупатели! Вас обслуживает отличник советской торговли». Таблички развешаны со смыслом. Над дверью в комнату: «Квартира высокой культуры быта». Возле выключателя: «Уходя,

гасите свет!». На магнитофоне: «Не включать! Работают люди». У окна: «Место для курения». Над кроватью: «Гарантирую отличное обслуживание».

Нет вещей, к которым Крутик был бы равнодушен. Все новое, особенно запретное, воспринимается им с бешеным восторгом.

— План — это бог! — со священным трепетом утверждает он и обещает «накурить».

Но меня конопляный дым не берет. Я как-то иначе устроен. Другое дело — це-два-аш-пять-о-аш. Я делаю опасное открытие: только в подпитии я — настоящий. Трезвый я — не совсем я. Трезвый я — лишь тень меня подлинного, твердо знающего одну истину: я пью, следовательно — существую. Впрочем, и Крутик с зеленым змием подружился, быстро миновав разящий рвотой этап ученичества. В служении Бахусу равных ему нет. Ибо никто не обладает такой печенью и таким сердцем. О, Крутик — здоровяк, Крутик — кровь с молоком! Вырвавшись на свободу, он начнет безрассудно расходовать даром доставшийся капитал здоровья — как будто мстить собственным родителям, изводившим его спортом и нотациями о правильном образе жизни.

— Загоним клячу организма! — маяковтвует он, разливая водку, открывая третью пачку сигарет за день.

Во всем ему хочется дойти до самой сути. Добраться до границ возможного, проверить себя на прочность. Награда ему — белая горячка после семидневного алкогольного марафона. И это поистине бесценный опыт! Курсант школы милиции Алексей Крутиков с увлечением, в лицах представляет все, что было с ним на восьмой день новогодних каникул. Он сидел один в своей комнате и вдруг увидел в ней посторонних людей. Они ходили мимо него, беспечно разговаривая друг с другом, рядом на полу возились их дети. Наличие стен и мебели гостей не смущало: они свободно проходили сквозь материальные преграды, демонстрируя свою бестелесность. Наконец, некий мужчина интеллигентного вида наклонился к нему и объяснил:

— Вы не бойтесь. Мы тут жили раньше, очень давно. Нас нет, и вы не должны нас видеть.

Никогда еще Крутик не испытывал подобного ужаса. Он в одних трусах выбежал на лестничную площадку и стал молотить кулаками в чужие двери. Никто не открыл — тогда никто никому не открывал. Все боялись. Крутик просидел на лестнице до утра.

Я до сих пор не знаю, трус Крутик или храбрец. Он, подобно фокуснику, извлекающему кроликов из цилиндра, вынимает из себя то одну личность, то другую. Белый кролик, черный кролик, серый. Повертит в руках и сунет назад, оставляя окружающих в недоумении. Он то холоден, то горяч, то чувствителен, то непробиваем. Однажды классе в седьмом мы прогуливали физику и в каком-то переулке наткнулись на стаю отборной гопоты. Гопников было много, они были постарше, но разморённые апрельским солнцем пребывали в таком ленивом благодушии, что позволили нам пройти мимо, зацепив лишь Севу-Карлсона — его нельзя было не зацепить: толстоморденький, конопатый, с рыжими кудряшками, Сева мог без грима играть того, кто живет на крыше. Его почти не били, с ним играли: с лентой пинали, дергали за волосы, прилепили жвачкой на спину импровизированный пропеллер из свернутой газеты. Карслон терпеливо ждал окончания экзекуции, смешно жмурился от холостых замахов и шмыгал разбитым носом. Гопота гоготала. Мы все топтались в сторонке, терпеливо ожидая, когда Карлсоном наиграются и отпустят. Вдруг Крутик, ничего не говоря, подошел к главному истязателю, небрежно скинул его руку с плеча жертвы, взял Карлсона за локоть и вывел из толпы. Все это он проделал быстро, легко, с некоторым даже изяществом, но с каменным от напряжения лицом. Гопники были настолько ошеломлены, что буквально застыли на месте. Безвольно повисли в чьей-то руке нунчаки, любовно изготовленные из табуретных ножек и цепочки от туалетного бачка. Опомившись, гопота бросилась за ним, но было поздно: Крутик с Карлсоном исчезли, будто улетели на крышу, а на деле — свернули за угол и успели заскочить в отходящий троллейбус. Не преминули ускользнуть и мы — пока посрамленные

хулиганы не вернулись отыграться на нас, трусах. Переведа дыхание, мы молча разошлись: нам было стыдно, каждый думал о себе и о Крутике. Он боялся, как и мы, может быть, даже больше нас, но сделал это. Почему? Зачем? Чтобы испытать себя или чтобы доказать что-то нам? Пожалуй, он и сам не смог бы ответить. Одно из тысячи крутиковских «я» проснулось в нем для подвига и скрылось в тумане неизвестности.

Крутик в выпускном классе — дитя природы. Наши гуманитарные барышни любят его за непосредственность, озорство и фантазию. Он — враг ханжества, ложная стеснительность ему чужда, на физкультуре он стягивает футболку и являет изумленной публике результаты домашних тренировок (дома, в той самой комнате, — рукотворная штанга из палки от швабры и первобытных чугуновых утюгов). Попутно с мускулатурой демонстрируются познания в анатомии, звенит латынь.

— Это трицепс. Это бицепс. Это квадрицепс. А это дельтоиды...

Барышни зачарованно тычут пальчиками в упругие выпуклости, Крутик надувается и едва не урчит от удовольствия. Есть еще подвздошно-поясничная и большая ягодичная, но эти заповедные мышцы он обещает показать в приватной обстановке. Шутка рискованная, но Крутику все прощается.

Вообще, девушки его любят. Сопостельницы у него — всех цветов кожи, есть даже филиппинка — студентка по обмену. В планах Крутика негритянка — но где ее достать? Сам он — студент по обману: знакомясь на улицах, он любит представиться будущим философом, экономистом или конструктором ракетных двигателей. После школы он осваивает гитару, появляется на дискотеках, хотя танцевать не умеет. Вернее, умеет, но по-своему, по-крутиковски: вместо того, чтобы повторять всеобщие механические движения, он без стеснения утверждает свой собственный танцевальный стиль — упругий, требующий работы всех наращенных утюгами трицепсов и дельтоидов, но при этом мягкий, можно сказать нежный. Тут извольте следить за его руками — плавными округлыми движениями тяжелых ладоней он вылепляет из воздуха причудливые фигуры — то ли вазы, то ли дамские прелести. Ноги при этом вычерчивают на полу таинственные иероглифы. Ни одно движение не повторяется — Крутиков вообще неповторим.

В белые ночи город кишит сорвавшейся с цепей молодежью, невский воздух набухает тревожными запахами любви и парами внезапного пивного изобилия. Победивший капитализм с рекламных щитов зовет к активному потреблению жизни, настраивает на позитив и обещает успех. Девушки желают обнажаться, от обилия голых лядвий кружится голова, и кое-кто из нас забрался в гранитную чашу фонтана — освежиться. Избыток сил разрывает грудную клетку изнутри. Подушечки крутиковских пальцев истерзаны струнами, наши глотки — дымом, водкой и песнями. Сил уже нет, а расходиться не хочется. Белая карнавальная ночь оставляет изумленному бледному утру изумрудные россыпи битого стекла на асфальте.

А на тысячи километров вокруг не может опомниться от потрясения огромная равнина, и где-то там, в нижнем уголке школьной карты что-то посверкивает, и уже прострелены навывлет, уже отрезаны первые головы наших выхваченных военкоматами ровесников, но нам, гуманитариям, везет — я поступил в институт, я учусь на архивариуса, а он — на мента, и вот уже ноябрь, и мы стоим на набережной, курим и ничего не знаем — ни о себе, ни о жизни.

— Уна суна кара! — повторяет Крутик.

Только бы не засмеяться...

Жизнь после школы катится пестрым комом, подскакивает на ухабах, поворачиваясь к нам неожиданными сторонами. Из органов Крутик вскоре ушел, что-то там у него «не срослось», куда-то он там «не вписался». После ментовки работал он и администратором в ночном клубе, и экспедитором на молокозаводе, и охранником

в секс-шопе, и торговым агентом, и крупье в казино, и помощником депутата, и продавцом погребального инвентаря, и заведующим складом, в каждой новой профессии находя «свой кайф», взалхлеб рассказывая новые истории, грозясь написать производственный роман — ну или хотя бы рассказ о том, как после корпоративной пьянки ночевал в закрытом гробу и, проснувшись среди ночи от духоты, был объят ужасом смерти. Рассказ не рассказ, а песню он пишет, и по общему признанию вполне «достойную». Бывшие одноклассники и одноклассницы, полуразочарованные экс-гуманитарии, разбросанные по углам большой жизни, внимают новоявленному барду. Шестиструнный плеск, звон рюмок — комната героя тонет в табачном и прочем дыму, и уже с трудом читаются слова на стене: «Берегите тепло!»

Свет погас, отрыдали гитарные струны. К тридцати Крутик стремительно погрузнел, утратил резвость движений и густоту шевелюры, атлетический торс его оплыл, как свеча, и уже не так-то просто нащупать под разрыхлевшей кожей ту звонкую медицинскую латынь, которой он забавлял наших девочек. Это — от малоподвижного образа жизни, причина которого — что угодно, только не теория об экономии жизненной энергии. Теорий он более не производит, новые идеи редко восходят над горизонтом его спокойного ума.

Так, наверное, и должен жить мудрец, своевременно обкусавший райское яблоко юности со всех сторон. Что теперь делать? Отшвырнуть от себя подальше этот огрызок, перестать отвечать на гнусные провокации так называемой «объективной реальности». И ничего не придумывать взамен, ибо не следует множить абсурд без необходимости. Никакая реальность — даже самая нереальная — не стоит того, чтобы тратить на нее силы. Это — не новая быстропреходящая идея, это — образ жизни, можно сказать — судьба.

Теперь у Крутика — только одна личность. Угрюмая. Раздражительная. И ничего не помнящая. Точнее — не устаивающая помнить.

Мы сидим за кружкой пива, я пытаюсь его растормошить, напоминаю про былые пакости.

— А помнишь ногти?

Однажды он с садистским блеском в глазах высыпал на стол горку состриженных ногтей. Момент был подходящий: я, известный брезгливец, как раз разворачивал бутерброд. Эффект был убийственный, хотя ногти оказались не настоящие: он просто взял пластмассовую пробку из-под шампанского и настругал. Получилось весьма натурально. Помнит ли он, как визжали за завтраком наши гуманитарные барышни, когда увидели это на столе? Нет, он не помнит. А впрочем, что-то такое было...

— А мух помнишь? Из пластилина? Крылышки целлофановые, а? Ты их еще на стенку прилеплял? И на стол учительский, а?

Нет, и это не помнит. Или делает вид. С брезгливой полуулыбкой соглашается припомнить лишь крысу в школьной столовой, выскочившую непонятно откуда и убитую наповал метко брошенным крутиковским ботинком.

Мы сидим в его новой комнате. Той, прежней, комнаты давно нет — Крутик переехал на окраину, в панельный дом, в коммуналку поменьше. Куда-то делась коллекция табличек, исчезла выставка самопальных картин, нет больше ни гитары-колдуньи, ни многофигурного коллажа с Брежневым и Джимом Моррисоном. В новой комнате ничего лишнего, только нужное, полезное, понятное. Здесь приятно находиться, здесь вкусно и обильно кормят, хозяйка скромна, внимательна и чистоплотна.

Здесь нет ничего лишнего, если не считать столпотворения комнатных растений на подоконнике и маленьком компьютерном столике. Какие-то лианы намертво переплелись с проводами от компьютера, клешни жирного алоэ хищно обхватили край старого монитора. Монитор обтирается специальной тряпочкой. Отдельная тряпочка — для растения. Что это? Чувство вины перед тем, давно почившим алоэ,

невинной жертвой нашего детского эксперимента? Нет, историю с дохлой кошкой и шприцем Крутик тоже не помнит.

В ответ на любое предложение встретиться с одноклассниками или прочими общими знакомыми, которых, как котят, вдоволь наплодила наша бурная юность, он произносит одно слово, для выразительности разрубая его надвое:

— За-чем?

Теперь это любимое его слово.

А любимое время года — между октябрём и февралём. Идешь на работу — еще темно, возвращаешься — уже. Светлые февральские утра раздражают: на улице ты как голый, и мир стоит голый. Лучше всего — когда за окном темнота, как будто ничего нет, и все мировое пространство утрамбовано в параллелепипед комнаты. Только ты и компьютер. А еще — жена, селедка под шубой и растения в горшках.

Он действительно не понимает зачем. Приватно поболтать со мной — другое дело, по инерции старой дружбы мы время от времени сдвигаем рюмки или пивные кружки, но наши разговоры все чаще скатываются в пахнущую тиной мизантропию. После каждого визита моя картина мира на некоторое время меняется — жизнь видится мне как бы сквозь пыльное стекло, краски тускнеют, пропадает перспектива. Потому что все люди — подлецы и эгоисты, никому нельзя верить, ни с кем нельзя иметь дело. Соседи лезут со своей дружбой — за этим явно что-то стоит. Их пылесосы, телевизоры и дети слишком шумны. Покоя, покоя и еще раз покоя — вот чего недостаёт моему собеседнику.

Поначалу я думал, что дело в ней. Но она тут ни при чем. Обычная, в общем, жена. Ко мне хорошо относится и кормит мясными рулетиками. Очень вкусно.

Крутик годами не выезжает из своего панельного района. Отпуск он обычно берет зимой — отоспаться, отлежаться, а уж если летом, то проводит свободные дни дома, время от времени выходя покурить на балкон, редким вечером прогуливаясь по окрестным пустырям. Кроме молчаливой подруги и компьютера у него никого нет. Все ненужное отслоилось.

Промежутки между нашими встречами с каждым годом все длиннее. Последний раз мы виделись года три назад. И тут не одного Крутика вина — я завяз в быту, закрутился в делах. Но главное, я боюсь услышать вопрос: «Зачем?» И вопрос этот не лишен смысла. Если вдуматься, зачем вспоминать детство? А с ним отрочество, юность и так далее? Зачем хранить все это на жестком диске своего стремительно устаревающего компьютера? Зачем видеться с людьми из прошлого, которое незачем вспоминать? Что это дает? Что меняет? Зачем куда-то ехать в отпуск, если там, по большому счету, все то же, что и здесь? Зачем писать рассказы? Зачем новый год, если есть старый? Признаться, не на все эти вопросы я в состоянии ответить. На любые мои «затем, что...» следует новое «зачем?» — и так до бесконечности.

Лучше поговорить о чем-нибудь отвлеченном. Например, о магии слов. От водки под домашние соленья Крутик немного обмяк, и я решаюсь спросить:

— А помнишь... Ну тогда на Неве, мы стояли с тобой, пили пиво, и ты вдруг...

Я произношу те дурацкие, вылетевшие двадцать лет назад слова. Сейчас Крутик сделает страшные глаза, озираясь, замашет руками, потребует замолчать. А может, усмехнется, предложит выпить за наши шенячьи благоглупости. Но нет, он морщит свой утомленный лоб, он не помнит или не желает помнить те три легкомысленно произнесенных магических слова, о чудовищной силе которых я, кажется, начинаю догадываться. Он только брезгливо морщится, и во взгляде его — усталое недоумение благоразумного человека, в присутствии которого сказана глупость.